

Художественный журнал, № 84, 2011

moscowartmagazine.com

Александр Бикбов. По ту сторону «культурной политики неолиберализма»

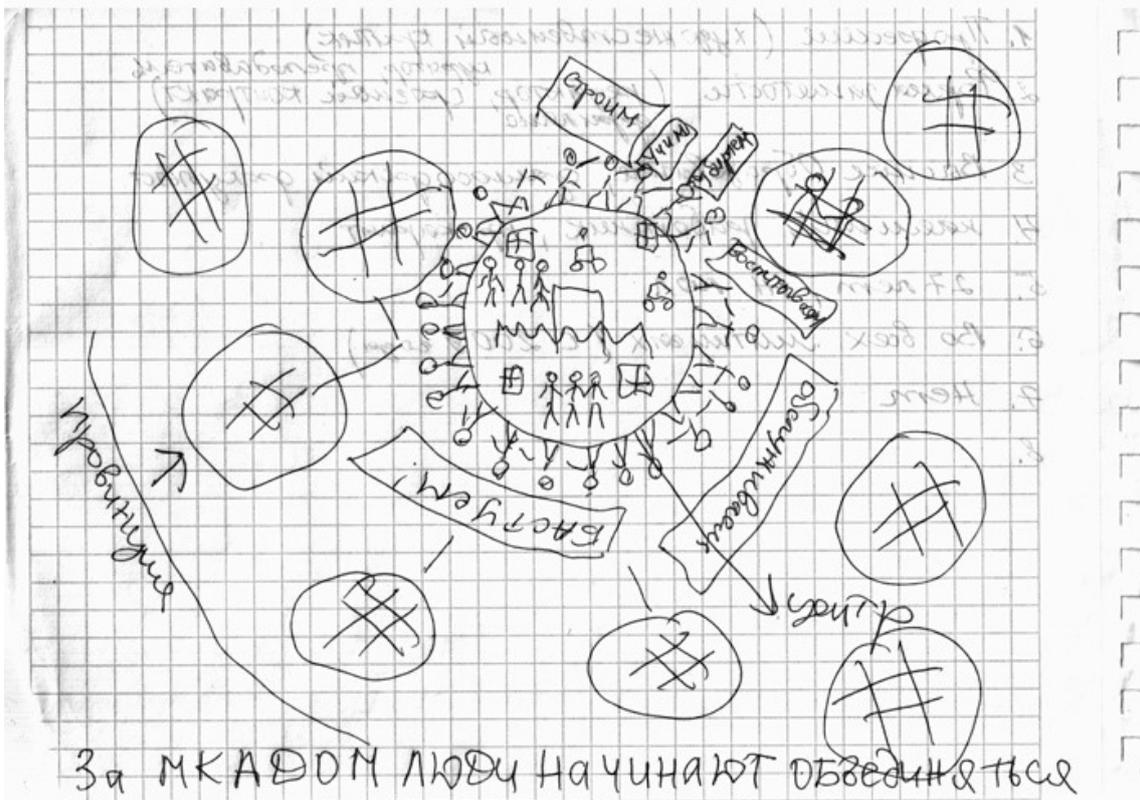
Александр Бикбов. Родился в 1974 году в Москве. Социолог. Зам. директора Центра современной философии и социальных наук философского факультета МГУ, ассоциированный сотрудник Центра Мориса Хальбвакса, редактор журналов «Логос» и Laboratorium. Живет в Москве и Риме.

«Художественный журнал»: Ваш текст «Культурная политика неолиберализма» стал одним из ключевых материалов двух последних номеров нашего журнала^[1]. В них мы подводили итоги прошедшего десятилетия, и ваша статья предложила развернутый и системный анализ изменений, произошедших за этот период в области культурной инфраструктуры. Вы убедительно показали потери — интеллектуальные, культурные и моральные, — которыми эти преобразования оказались чреватые, однако при этом избегали развенчательного пафоса, столь присущего современной критической теории — в том числе и той, что обычно появляется на наших страницах. Вы исходили, в частности, из того, что «у нас практически нет шансов отменить неолиберальный режим в культуре, просто объявив идейный “огонь по штабам“». И в самом деле,

создается впечатление, что раз эти преобразования свершились и выглядят практически бесповоротными, то, следовательно, их невозможно расценить как случайность. Раз в своем осуществлении неолиберальные реформы не встретили массового сопротивления, то можно предположить, что их невозможно свести лишь к принудительному захвату бескорыстного поля культуры коммерческими интересами новой экономики. А потому, начиная наш сегодняшний разговор о дальнейших перспективах культурного строительства, нам хотелось бы понять, видите ли вы наряду с потерями от неолиберальных реформ также и некие приобретения? Ведь побудительной силой дальнейших преобразований может быть не только рожденная потерями негативная энергия, но и позитивная экспансия завоеванного. Кстати, свой текст о культурной политике неолиберализма вы заканчиваете словами: «Основной вопрос, который предстоит практически решать в ближайшие десятилетия, звучит следующим образом: какие действенные и привлекательные формы организации культуры можно противопоставить соблазну доходности?»

Александр Бикбов: Думаю, ваша постановка вопроса совершенно правомерна. В статье я отчасти пытался показать, кто выигрывает от этой новой модели культурного производства. Речь шла о том, какие субъективные свойства и какие типы социальных и профессиональных траекторий попадают в режим благоприятствования в этой новой системе. Вполне очевидно, что выигрывают не только наиболее глупые, злые и циничные игроки, но и те, кто более естественным образом, то есть биографически, предрасположен к затребованным неолиберальной системой гибкости труда, географической мобильности и т.п.

Однако победа или решающее преимущество новых культурных моделей и типов субъективности — это утрата позиций прежними моделями и их носителями. Эту связь важно учитывать при оценке приобретений, особенно в их не всегда очевидной, но неизбежной связи с вопросами социальных неравенств.



Если опираться на риторику позднесоветской интеллигенции, главной жертвой авторитарного государства оказывались именно интеллектуальные среды. Для них социальное измерение позднесоветского режима было куда менее важным, чем культурная дискриминация, поскольку основу самого режима составляло отрицание социальных неравенств. Условно говоря, все могли рассчитывать на минимальную оплату не просто труда, а времени жизни, имели базовые гарантии — по крайней мере, население больших городов — при медицинском обслуживании и т.д. Это была ситуация относительного социального равенства, которая выступала негласной нулевой отметкой при оценке

культурной ситуации. Относительного, поскольку интеллектуальная, в частности, художественная среда демонстрировала очевидные имущественные разрывы. Но они не тематизировались как ключевые. К примеру, в дневниках Тарковского контраст с пресловутыми «120 рублями в месяц» просто бросается в глаза, хотя сам он, как кажется, этот контраст полностью игнорирует. В «Мартирологе» Тарковский приводит цифры своих заработков и расходов 70-х годов, из которых явствует, что нерегулярные гонорары и авторские отчисления составляли 1000–7000 рублей, оплата одного публичного или телевизионного выступления — 100 рублей, взаимные долги в кругу друзей и знакомых обычно достигали сотен и даже тысяч рублей. Иначе говоря, художественная среда объективно существовала в иных социальных координатах, нежели, например, университетская. Но это (парадоксальным, по сегодняшним меркам, образом) не становилось определяющим условием социального различия.

Если мы возвращаемся к прежней системе неравенств, чтобы реконструировать ее эмпирически, материальные различия становятся неожиданно осязаемыми. Но для самих задействованных в той ситуации участников они не были основой, в частности, для ощущения и переживания себя как интеллектуальной буржуазии. Гораздо чаще эти участники жалуются на дефицит, хамство и уравниловку, подчеркивая невыносимость подобных лишений для культурной элиты. Лишь двойной, структурно-эмпирический и доктринальный разрыв с этой позднесоветской схематикой всеобщего равенства и дефицита перепроизвел действительный класс интеллектуальной буржуазии. Хотя в

России сегодня по-прежнему мало кто осмелится говорить о себе как об интеллектуальном буржуа (в том числе из-за самоцензуры, связанной с советским культурным опытом), предпочитая расплывчатый и в этом смысле безопасный «средний класс», есть все социологические основания рассматривать формирование этого слоя в рамках новой экономики культуры. Именно интеллектуальная буржуазия, которая аккумулирует в своих руках и своих телах наибольший культурный капитал, соединенный с наибольшим экономическим, — и есть те самые выигравшие, о которых вы спрашиваете. Максимальное преимущество в новой системе получают те, кто может достаточно успешно действовать в обоих полях: экономическом и интеллектуальном.

У подобного успеха есть свои неочевидные измерения. В частности, во всех перипетиях последних двадцати лет удача сопутствовала тем, кто, чутко реагируя на вызовы современности, сумел воспользоваться некоторыми специфическими, «не вполне» современными ресурсами. Такими, как меценатская поддержка культурных инициатив, переизобретение которой в России, как и в других странах, не перестает меня интриговать. Неолиберальная модель в том виде, в каком она была сформулирована еще в рекомендациях ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) 60-х годов, в принципе не предполагала института меценатства. Считалось, что культурные производства должны функционировать на принципах самокупаемости и что перераспределение институциями общественных фондов должно быть настолько эффективным, чтобы они сами покрывали зазор между затратными статьями культуры и платежеспособным

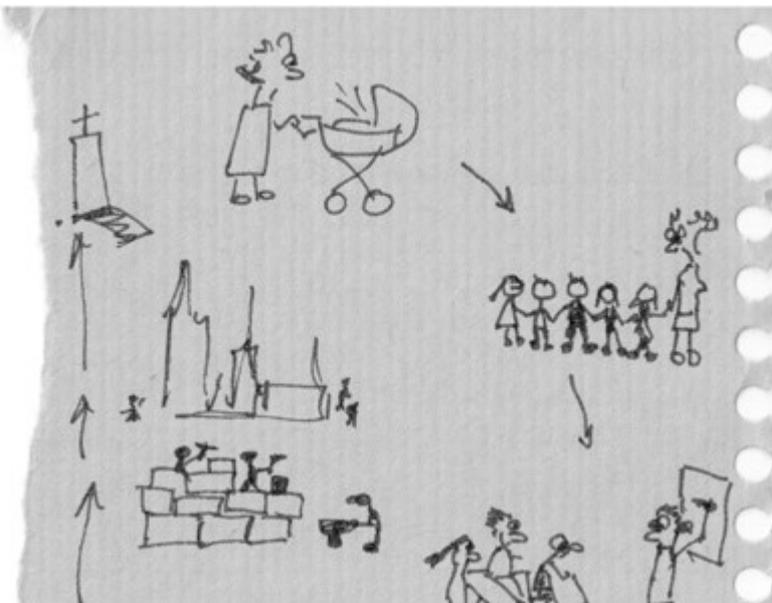
спросом. Однако эмпирически десятилетие нулевых дало одно очевидное опровержение этой чистой модели самофинансируемой культуры. Институты, которые определяют горизонт ближайшего будущего в различных секторах культуры, одновременно активно вовлечены в «архаичные» патрон-клиентские связи и используют финансирование, не запланированное платежеспособным спросом. В России это можно наблюдать в том числе на примере больших флагманов неолиберальной реформы, таких как Высшая школа экономики, чьей сверхзадачей был выход на самоокупаемость, но которая продолжает сверхдотироваться из госбюджета в силу режима особого благоприятствования со стороны федерального правительства. Но в еще более очевидной форме эта характеристика реализована в деятельности малых центров интеллектуального авангарда, таких как «Новое литературное обозрение», до самого недавнего времени журнал «Логос», литературный альманах «Воздух» и отчасти «ХЖ» — институций, которые одновременно находятся на переднем крае национального производства культуры и весьма умело маневрируют на грани между рыночным статусом культурных благ и практикой моральной инвестиции, отправляемой состоятельными людьми — любителями культуры, искусства, философии, литературы. То есть, если искать наиболее удачные примеры реализации калькулятивной неолиберальной модели, которые предъясняются в том числе как доказательство ее жизнеспособности, мы обнаружим на удивление много «аффективного» XIX века. Это одно из ключевых (и парадоксальных) условий успеха в производстве культуры будущего.

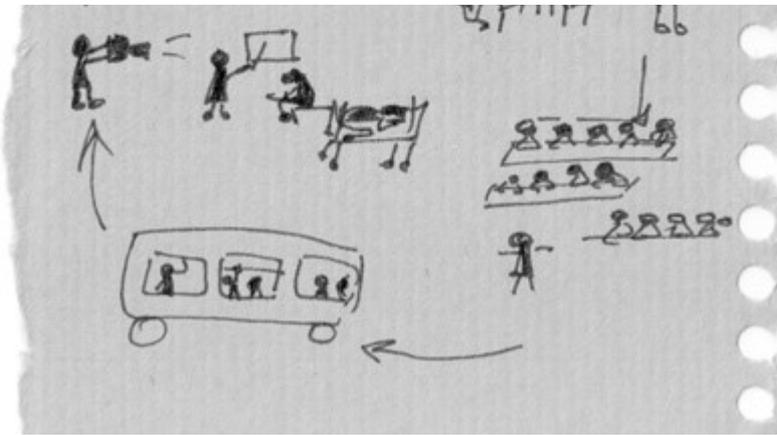
Что же касается объективного и неизбежного характера этих изменений, достаточно вспомнить о послевоенном тридцатилетии 1945–75 годов с его бескомпромиссным оптимизмом научного прогресса и верой в неизбежность всеобщего благосостояния. С одной стороны, в этот период в развитых обществах, включая советское, обретает реальность проект социального государства, который стал для нас столь естественным, что еще недавно нам казалось, будто социальное государство существовало всегда, и в 90-е с ним произошла беспрецедентная историческая катастрофа. С другой стороны, именно в эти годы формируется конкурирующая модель пресловутой рентабельной культуры, одобренная клубами состоятельных финансистов и политиков, среди всего прочего основавших ОЭСР и предложивших те рекомендации, которые позднее, а именно десятьпятнадцать лет назад, легли в основу вполне официальных правительственных планов и реформ.

Если сравнивать мировые тридцатилетия 1945–75 годов и то, что началось, скажем, в 1995 году, делая это не в марксистско-гегелевской логике объективного движения истории, а через призму антагонистического поля сил (то есть представляя историю как результат противоборства конкурирующих сил и альянсов), относительную победу неолиберальной модели — не доктринальную даже, а фактическую победу в целом ряде зон культурного производства, таких, например, как университет, где это проявляется не менее ярко, чем в художественном мире, — эту победу можно рассматривать «просто» как текущий исход борьбы между различными фракциями господствующего класса. Интеллектуальными ресурсами, которые были аккумулированы еще в 60–70-е годы, так же

«просто» воспользовались те, кому они оказались наиболее структурно близки и удобны, — политически оформленные фракции сторонников естественного неравенства, которые на протяжении последних пятнадцати лет пришли к власти в разных европейских странах. Именно они попытались провести неолиберальные реформы в ответ на разного рода структурные «вызовы», от воображаемого «кризиса республиканских ценностей» до предсказуемого схлопывания финансовых спекулятивных пирамид в международных масштабах. В этом смысле всемирно-объективная и неизбежная победа неолиберальной модели — абсолютно очевидный идеологический конструкт, который лишь закрепляет фактически сместившийся баланс сил. На деле в этом сдвиге задействованы не отвлеченные законы истории, а очень частные, позиционно маркированные интеллектуальные ресурсы и мощь современного государственного аппарата, использованная для укрепления позиций неолиберальной (или неоконсервативной) фракции политиков.

«ХЖ»: Да, но в Европе этот курс проводили в том числе социал-демократические партии — создатели и сторонники социального государства...





А.Б.: В данном случае речь все-таки даже не о сторонниках той или иной политической доктрины, а об обладателях определенного профессионального стиля жизни и спонтанного восприятия социальной иерархии, в которое вписана и дилемма элитарной или общедоступной культуры. Так, немалая часть миттерановских социалистов во Франции представляла тот же класс, который сегодня проводит неолиберальные реформы, сдвигающие баланс сил в пользу «естественных» неравенств. В этом смысле даже 60-е в Европе, на первый взгляд, поглощенной борьбой между эгалитаризмом и патернализмом, дают неожиданные примеры предвосхищения и преемственности. Я уже указывал, что победа неолиберальной модели в отдельных секторах не является доктринальной и вообще по большей части не нуждается в доктринальном оформлении — это практика управления самыми разными категориями населения и предприятиями, в число которых могут попадать и культурные. Более того, в ряде случаев неявными агентами этой практики становятся те, кто выступают ее активными критиками. Это довольно хорошо описанный (в том числе в художественном мире) и регулярно оспариваемый факт. Подобные качели эмпирического вовлечения и идейной критики рождают обширное пространство дебатов, в которых неолиберальные практики приобретают окончательное

доктринальное оформление.

Возвращаясь к вопросу о том, почему неолиберальный поворот стал возможным, с точки зрения большой истории, скажем, двухсот- или трехсотлетней, следует отметить, что исключением был скорее период с 1945 по 1985 год, когда механизмы социального, культурного и экономического распределения работали не так, как до того. То, что происходит сейчас — это скорее откат к ситуации, когда, если говорить очень грубо, богатые и образованные имеют все больше социальных преимуществ перед бедными и необразованными, то есть откат как минимум к XIX веку с его натурализованным неравенством всех видов и глубоко укорененным социальным расизмом. Сегодня по симптоматике достаточно быстрого культурного поправления культурных производителей (одновременного с их частичным политическим полевением), все чаще противопоставляющих свои достижения интеллектуальной буржуазии всевозможным дикостям косного «быдла», можно видеть, что мы уже завязли в XIX веке — причем далеко не всегда в обновленных формах, с новыми категориями и системой мышления. Никакой закономерности в этом нет, но результаты этого медленного и не всегда очевидного отката в «прошлое будущее» обладают силой данности, заставляющей думать, будто оно закономерно и неизбежно.

«ХЖ»: К вашему анализу трансформации российского мыслящего класса в постсоветский период можно добавить одно наблюдение. В самом деле, некоторым удалось конвертировать накопленные в советские годы знания в когнитивный капитал и успешно вписаться в неолиберальную ситуацию, стать, как вы говорите, своего рода «интеллектуальной буржуазией». Однако совершенно

в иной ситуации оказывается сегодня молодое поколение, и, кстати, не только в нашем локальном контексте, но также и в западном мире. Сегодня у молодых уже нет прожиточного минимума, который гарантировал старшему поколению реальный социализм для спокойного и вдумчивого накопления знания; численно когнитивных работников стало больше и конкуренция между ними становится все острее; работать им приходится больше, скорость их творческой деятельности вынужденно возрастает, а ее качество — снижается. А потому авторитетами на сегодняшний день остаются интеллектуалы поколения 60–70-х, сформировавшиеся еще до появления когнитивной индустрии.

При этом есть в актуальной ситуации и другой аспект. Кризис неолиберальной парадигмы, господствовавшей в мире последние двадцать лет, в настоящее время очевиден: даже отъявленные либералы заговорили сегодня о необходимости «социального поворота» в экономике и социальной политике. Можем ли мы рассчитывать, что в этой ситуации гегемонию получит альтернативная неолиберальной парадигма социального государства?

А.Б.: За подобными разговорами редко стоит идея нового социального государства. Чаще речь идет о смягчении наиболее острых и очевидных издержек дерегуляции, которые угрожают стабильности самого экономического порядка. И это в последнюю очередь касается мира культуры, приватизация которого продолжается полным ходом. Йозеф Шумпетер сформулировал тезис о вымывании капитализмом собственных предпосылок и ресурсов, заложенных на протяжении предшествующей истории. Не перепроизводя их заново, капитализм их

потребляет и, тем самым, выражаясь метафорически, подпиливает сук, на котором сидит. Впрочем, с первой трети XX века, когда Шумпетер сформулировал свой тезис, произошло немало событий, которые в очередной раз показали, что даже в этих условиях обнаруживаются неучтенные ресурсы (и одним из таких ресурсов стало социальное государство), которые позволяют заново стабилизировать капитализм, трансформировать его, при этом лишь отчасти смягчив присущую ему игру на социальных неравенствах. Также очевидно, что результатом подобных экспериментов по реконфигурации становится новая социальность и новая субъективность, что можно считать поводом для оптимизма. Поскольку эмпирическая история и позиционная борьба продолжаются, в перспективе десяти-двадцати лет уже есть место для новой критической теории или нового искусства, которые мы еще не можем помыслить (поскольку у нас нет релевантных им форм мышления; то есть мы можем предполагать, что будет некое новое искусство или теория, но не можем определить, какими именно они будут). Однако уже сегодня можно сказать, где именно появится новая универсалистски ориентированная культура, если мы проведем инвентаризацию потенциальных мест ее появления по нескольким формальным критериям.

Одним из ключевых критериев здесь выступает наличие у людей свободного времени, которое им нет нужды непрерывно обналичивать, продавая себя на рынке заказов и грантов или в пространстве галерей. И здесь мы можем исследовать, кто является обладателем такого времени, доступного для производства, в частности, нового нерентабельного искусства, и насколько велико это время,

позволяющее им удерживаться в границах интеллектуального маневра, который освобождает от диктата немедленной окупаемости. Важно при этом, чтобы искомое время было производительным, то есть было бы временем становления и реализации редких навыков: маловероятных форм культуры и социальности. В этом смысле доступная сегодня студентам на протяжении двух-трех лет после учебы возможность опробовать себя в той или иной сфере, получить тот или иной учебный грант сама по себе не производит разрыва в цикле рентабельного использования времени, а лишь отсрочивает вступление в него. Более того, таким образом нынешние реформаторы университета и всей культурной сферы настраивают систему на избыточное число мотивированных к успеху людей, находящихся в индивидуальной конкуренции друг с другом. Подобная ситуация неизбежно предполагает большое число проигравших. Вне зависимости от содержания и степени универсальности проектов выигрывает здесь тот, у кого есть возможность на протяжении длительного времени оставаться в ситуации конкуренции, не получая прямого вознаграждения за время, вложенное в состязание.

Но кто это может быть? Типология достаточно проста. Это либо богатый наследник, либо участник, готовый поступаться своими потребностями в комфорте и быте, либо некий коллективный субъект, который благодаря распределению издержек способен дольше, чем любой индивид, существовать в ситуации достаточно жесткой игры на выбывание. Все эти три варианта можно наблюдать уже сегодня. Есть наследники, которые могут выступать в том числе носителями неких универсалистских проектов. Я

имею в виду тех носителей культуры и вкуса, претендующих на общезначимость, кому не нужно заботиться о своих доходах, потому что об этом уже позаботились их родители или спутники жизни. Некоторое число этих новых производителей и посредников (кураторов) активно реализуют сегодня свои проекты в арт- и медиасфере. В тех же проектах, на тех же площадках с ними взаимодействуют их социальные антагонисты, по совместительству профессиональные союзники — говоря условно, аскеты культурного производства: люди более скромного социального происхождения или не имеющие изначальной связи с художественной средой, которые участвуют во множестве проектов, не имея постоянной занятости или стабильного заработка ни в одном из них, подрабатывают на стороне, постоянно вкладывая свое время и часть доходов в нерентабельные коллективные начинания, кампании солидарности и т.д. Занимая шаткие или эксцентрические профессиональные позиции, они продолжают искать антимейнстримные формы выражения, нередко полумаргинально, на энтузиазме, на специфических биографических ресурсах, постепенно нащупывая свою культурную и все чаще политизированную позицию, медленно продвигаясь от положения фриковатых экспериментаторов, не совсем понятных, не совсем правильных, в чем-то смешных, к той черте, за которой, наконец, начинается их фактическое признание в качестве полноценных художников, критиков, участников выставок. И те, и другие выступают носителями проекта многосторонней, отчасти моральной личности, преодолевающей ограниченность рентабельной и функциональной субъективности, навязанной рынком.

Отчасти пересекаясь с этими двумя типами, отчасти им противостоя, существуют коллективные объединения, нередко неоднородные по составу, объединяющие художников с представителями других интеллектуальных секторов и активистов, что также избавляет всех участников от высоких издержек внутрипрофессиональной конкуренции. Этот третий тип субъектности может утверждаться в форме периодических событий (например, Первомайский конгресс творческих работников) или в форме регулярной кооперации, как — со всеми различиями от случая к случаю — в украинском Центре визуальной культуры, польской сети *Krytyka Polityczna*, российской группе «Что делать?» или более далеких от мира искусства коллективах, таких как «НИИ митингов», объединившем людей из разных интеллектуальных сфер, которые занялись глубоким (и совместным) исследованием уличной мобилизации декабря 2011 — марта 2012. Отличительной чертой таких инициатив является частичный или полный отказ от индивидуального авторства проектов, инициативное распределение задач по их реализации в отсутствие жесткого разделения труда, а в силу этого — относительно быстрая аккумуляция и публичное представление интеллектуальных ресурсов, которые дают альтернативу господствующим способам присвоения культуры. Такой режим участия предоставляет каждому индивидуальному члену дополнительное время и пространство интерпретаций, то есть жизненные ресурсы в условиях всеобщей конкуренции, способные смягчать ее давление.

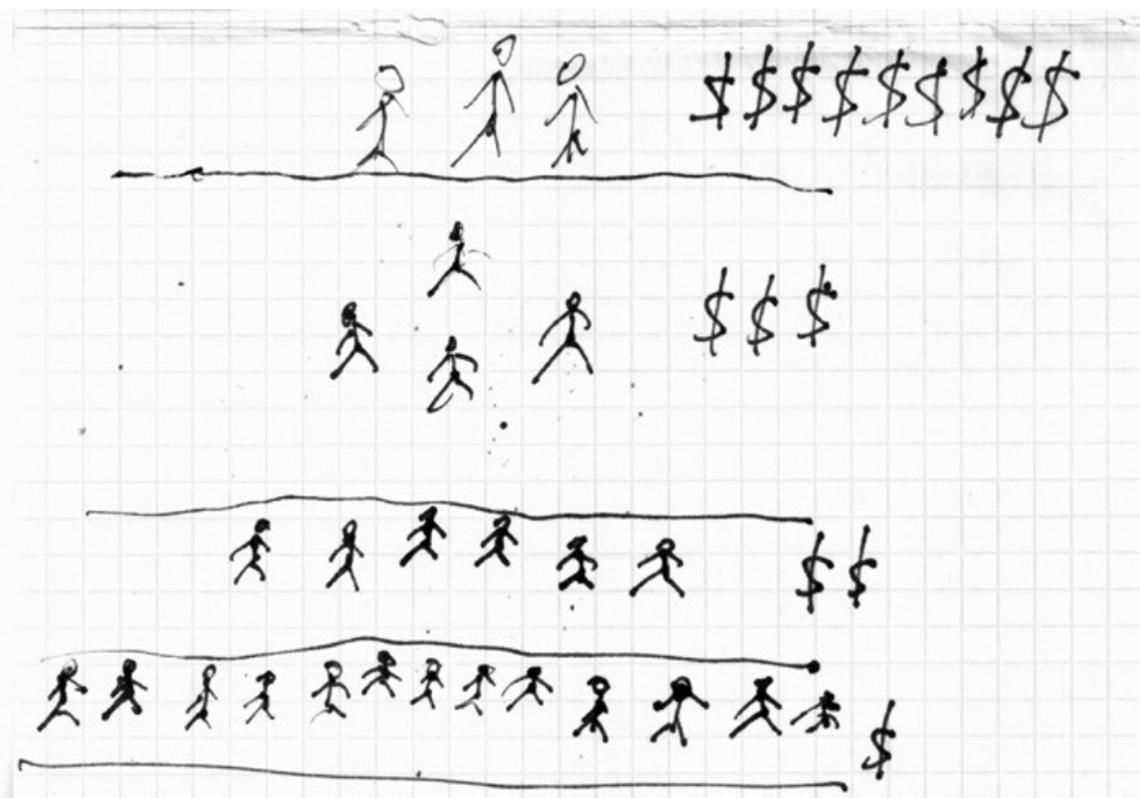
Все эти три типа нерентабельной организации времени и производства, переводящие биографические

предрасположенности в специфические культурные политики, вряд ли станут основой социально и культурно ориентированного государства ближайшего будущего. Но именно в них будет формироваться новая универсалистская культура. Добавлю в скобках, что особо чувствительным в российском случае пунктом остается институциализация такого типа субъектности. Но это уже отдельная тема, которую я подробно анализировал на материале университетской организации^[2]. Полагаю, ситуация в искусстве подчиняется схожим структурным условиям.

«ХЖ»: В самом деле, в неолиберальной системе — как, наверное, и в любой системе — имеются некие сбои, зазоры, побочные изводы, чреватые потенциальностью и освободительным эффектом. К ним также можно отнести — о чем вы только что говорили — сетевой коллективный характер современного производства, в том числе и производства интеллектуального. Способствует этому, в частности, и то, что мыслящего класса становится много. Хотя в результате коммерциализации высшей школы доступ к образованию сокращается, но все-таки он сохраняется, и интеллектуальная масса растет. И пусть эти люди далеки от образа универсального интеллектуала сартровского образца или образа ярких шестидесятников, но они пытаются быть активными, иницируют проекты, вступают в контакты, сбиваются в сообщества. Именно с этой активностью в недрах неолиберального общества, которую Паоло Вирно называл «коммунизмом капитала», мы, пожалуй, и можем связывать одну из наиболее продуктивных перспектив.

Есть, впрочем, один характерный нюанс: мотивированы эти люди чаще всего мечтой о том, что в конечном счете в

результате этих беспорядочных усилий они приобретут тот статус непререкаемых авторитетов и ту свободу распоряжаться временем своей жизни и творчества, которые — как им кажется — были у великих в давнем или недавнем прошлом и есть у наиболее успешных коллег старшего поколения, то есть у тех же шестидесятников-семидесятников, определяющих сегодня интеллектуальную повестку дня. Уязвимость подобного умонастроения состоит в том, что, во-первых, оно противоречит самой коллективистской идеологии, которая лежит в основе их практики, но, во-вторых, узнает себя в неолиберальном культе карьеры и личного успеха, а, в-третьих, в случае неудачи или череды неудач — а большинство по определению на них обречено — все оборачивается разочарованием, деморализацией и в конечном счете конформизмом.



А.Б.: Конечно, нынешняя система, избегающая прямых репрессий, увеличивает риск такого исхода. Утрата иллюзий и надежд на большой профессиональный успех не

противоречит принятию того факта, что жить в соответствии с правилами игры просто удобнее. Свою роль здесь играет и скрытый порок «новаторских» форм интеллектуального протеста, противопоставляемых наивному романтизму и скучноватой рутине традиционной коллективной мобилизации. Ведь даже если с точки зрения жизненных условий капитализм менее привлекателен, чем социальное государство — в данном случае я не имею в виду его советский вариант, в силу оговоренных выше обстоятельств — нельзя сказать, что мы наблюдаем всеобщий подъем антикапиталистического движения и альтернативной солидарности. Болтански с Кьяпелло удачно описали капитализм в нынешнем его изводе как режим, производящий достаточное число стимулов, которые делают его приемлемым. В частности, он производит иллюзию того, что мы можем контролировать жажду наживы, налагая на нее ограничения. Даже сама возможность индивидуальной критики капитализма без избыточных рисков (а советский режим так критиковать было невозможно) — это достаточно сильный аргумент, чтобы продолжать оставаться «внутри» системы, а не пытаться осуществить радикальный выход из нее.

Это же делает ситуацию более сложной с точки зрения маневров, которые необходимы, чтобы достичь до сколько-нибудь ощутимого предела и проверить, а можно ли вообще из этого выпрыгнуть, — и одновременно более простой с точки зрения того включения в господствующий порядок, который эта система производит. Кроме того, ее соблазняющие и репрессивные стратегии сбалансированы сегодня довольно тонко: можно длительное время заниматься чем-то весьма трансгрессивным (и поле

трангрессии остается достаточно обширным и разнообразным), при этом не создавая серьезных рисков для заведенного порядка. При том, что люди и группы, действующие, казалось бы, «совсем рядом», если не в том же самом поле, будут подвергаться весьма жестким полицейским репрессиям. Это очень хорошо видно на примерах секуритарной государственной политики в современной Европе или США, а со своими поправками и в России, которая достаточно четко ориентирована против претендующих на институционализацию объединений и форм социальности, предлагающих действительные попытки выхода из системы. В первую очередь сюда попадают самоуправляемые коллективы, реализующие антикоммерческие и антииерархические модели, такие как анархистские биокоммуны или цепи прямой кооперации с малыми производителями, минуя посредников-монополистов (крупные оптовые сети), независимые профсоюзы, активно противодействующие дегуманизации труда в крупных корпорациях, или антифашистские объединения и центры, которые, в противоположность стереотипам, не являются простым зеркальным отражением насильственных фашистских групп, а зачастую реализуют социальные инициативы прямой поддержки жителей «проблемных» районов, проекты против расистского насилия, информационные кампании. В Европе сегодня все они оказываются объектом репрессивной разработки, которая очень напоминает, а иногда и превосходит по своей жестокости деятельность российских антиэкстремистских подразделений (так называемых центров «Э»). Тут даже не приходится сомневаться, что соблазняющая логика нового менеджмента должна быть стабилизирована постоянным отсечением тех, кто сомневается в ней слишком

радикально. То есть тех, кто в своей критике и социальных экспериментах переходит порог просвещенного осуждения и начинает реализовать радикальные утопические проекты.

Надежды на то, что вся эта система в какой-то момент даст сбой, также составляют важную часть общей ситуации.

Самые свежие по времени и ясно артикулированные ожидания такого рода были связаны с финансовым кризисом конца 2008 года. Сколько было произнесено слов о том, что наконец-то с кризисом мы начнем строить свою общественную жизнь иначе! Даже непоколебимые, казалось бы, адвокаты всеобщей профессиональной конкуренции и свободного движения капитала вдруг начинали делиться мыслями об освобождающей силе краха системы. Но довольно быстро стало очевидно, что в декабре 2008 года никакого освобождения не произошло. Напротив, мы стали работать больше и упорнее, зарплаты снизились, отпуск и отдых стали короче, а социальные гарантии сделались еще более тонкими. И это «грустная» сторона нашего настоящего, которая будет свойственна и нашему ближайшему будущему.

А «веселая» или, скорее, обнадеживающая сторона заключается в том, что любой социальный порядок производит некоторые универсалистские и критические проекты. Правда, в социальных порядках, тяготеющих к моделям естественного неравенства, наиболее вероятными выразителями универсализма выступают прежде всего те, кто одновременно обладает как высоким культурным, так и имущественным уровнем. В этом контексте бальзаковская ностальгия по наследственной аристократии, с которой уходит большой стиль, способность к жестам, превосходящим любые расчеты и мелочные калькуляции,

отчасти оправдана. Интервьюируя представителей старых аристократических или буржуазных семей во Франции, я убеждался, что они (разумеется, не все) нередко являются носителями взглядов, далеких от социального снобизма и расизма, который приписывала им советская пропаганда. Иначе говоря, универсализм, причем даже избавленный от патернализма, как ни странно, может исходить из среды, представляющей традиционную вершину порядка неравенств. И именно выходцы из этой среды, как это отчасти произошло уже в 68-м, могут становиться протагонистами утопий и революций. Конечно, вопрос о действительных результатах таких революций остается открытым. Но то, что, например, в том же 68-м не многочисленные рабочие, участвовавшие во всеобщей межрегиональной забастовке, не студенты скромного социального происхождения, до событий наводнившие университетские аудитории и в мае-июне — парижские мостовые, а именно выходцы из высокообразованных и обеспеченных семей стали лицом мобилизации и во многом сделали смысл события — эмпирический факт.

«ХЖ»: Если мы признаем, что хранителями универсальных ценностей вновь становится аристократия или крупная буржуазия, означает ли это, что общество отказывается от них на структурном уровне? На этом этапе разговора хотелось бы вновь повторить, несколько переформулировав, ранее заданные вопросы: означает ли это, что мы уже не можем ожидать возвращения модели общественного патронажа над культурным производством и надеяться, что создание «гармонической личности» вновь станет основной целью культурной инфраструктуры?

А.Б.: «Гармоническая» или «всесторонне развитая»

личность — побочный продукт универсального социального государства, которое в прежнем виде прекратило свое существование. При этом возврат к XIX веку сегодня — не простой структурный регресс, не просто демонтаж институтов предшествующего периода, деэтатизация общества и возврат к противостоянию равносильных военизированных объединений (в духе: Ост-Индская компания против правительства США и т.п.). Напротив, исключительность ситуации состоит в том, что к XIX веку нас подталкивает само государство. Смена приоритетов и поворот сетки социальных координат осуществляется при активном и скрупулезном посредничестве реформаторских правительств, а государственное присутствие во всех сферах социальной жизни (в том числе через их целенаправленную дерегуляцию) только растет. Причем этот процесс сложный и далеко не однонаправленный. Иначе не было бы предмета для нашего разговора.

Продолжающаяся этатизация жизненного мира — ключевой момент, означающий, что беспрецедентная концентрация ресурсов, которая доступна сегодня государственному аппарату как перераспределительной системе, в принципе может быть использована и в пику идеологии Просвещения, и для реализации масштабных, даже циклопических культурных проектов, не всегда отталкивающих по своему содержанию и эстетике. То же правление социалистов во Франции 80-х подготовило целый ряд культурных пространств, которые впоследствии приобретают некоторые коммерческие измерения: гигантский комплекс Национальной библиотеки (завершенный лишь в 1996 году) используется в том числе как место проведения выставок и событий с массовой аудиторией, Праздник музыки

(учрежденный в 1981 году как попытка легитимации неклассической музыки), который представляет собой 24-часовой фестиваль-марафон уличных и самодеятельных музыкантов, имеет в том числе вполне прагматическую функцию, обеспечивая кафе публикой и внося свой вклад в туристическую индустрию. Такие проекты пользуются осязаемой финансовой поддержкой на государственном и муниципальном уровнях. И это не просто дань традиции, а попытка переопределить культурную гегемонию в новой прагматике: если массовая коммерческая эффективность некоторых культурных форм доказана, они могут быть реализованы в масштабах, не сопоставимых с теми, что были в XIX веке.

Происходящая в этих обстоятельствах партикуляризация культурного производства (прежде всего в виде его нишевого дробления и исчезновения универсального адресата) связана с тем обстоятельством, что в господствующей сегодня модели коммерческого менеджмента реализованы противоречащие друг другу наборы требований. Это можно хорошо проследить, в частности, в сфере образования. С одной стороны, доступ к образованию все больше ограничивается имущественно, то есть семьи студентов все чаще должны платить, в том числе за самые разные косвенные услуги, что становится крайне обременительным для малообеспеченных. С другой стороны, на рынке труда должны действовать профессионалы с высокой и гибкой компетенцией, способные доучиваться и переучиваться; а значит, получение будущим работником качественного высшего образования — не только свободный выбор индивида, желающего преуспеть, но достаточно жесткий императив

самой экономической системы. Это противоречие рождает сильные напряжения в университетах, и схожую ситуацию можно наблюдать во всех иных культурных сферах. (Я чаще говорю об университете, поскольку это наиболее подробно изученный мною пример.)

Другой пример, который я приводил в статье — артистические резиденции и академии, которые выполняют функцию, близкую к постдок-стипендиям в академическом мире. Эти институции неявно допускают, что их клиентура (конечно, не вся, но значительная часть) — это те самые заранее проигравшие в большом состязании за славу и успех, кто не желает покидать художественный мир и готов остаться в его втором или третьем эшелоне. Помимо попытки как-то справиться с противоречием демократизации доступа к культуре и ее стремительной коммерциализации, такие институции представляют собой один из способов умиротворения профессиональных фрустраций и социального протеста выпускников многочисленных художественных программ: здесь обретает приемлемую форму (в том числе теоретическую) некая часть критического потенциала, которая в ином случае может реализоваться, скажем, в протестах против саммитов Большой восьмерки. Отчасти по этой причине такие институции вряд ли будут окончательно устранены. Не исключено, что будет сокращено их число (что отчасти уже происходит) и, таким образом, усилена состязательная сторона процесса.

Ни одна из этих двух матриц, или наборов требований, не может быть реализована с полным отказом от второй. То есть, если сокращается общее число образованных работников, это почти неизбежно означает деградацию

экономики, о которой так пекутся реформаторы. В свою очередь, если давать большинству слишком высокий уровень образования и предоставлять возможности для развития навыков, происходит нерентабельное перепроизводство высококвалифицированных специалистов, которое реформаторы пытаются вывести из расходной части общественных бюджетов и переложить на бюджеты семей. Если сокращается число артистических резиденций и иных форм профессионального переживания, растет риск пауперизации, а значит, радикализации творческих работников. И в тех же условиях перверсивный универсализм высокоэтанализированного производства культуры заключается в растущем числе уровней сертификации навыков и требованиях регулярного подтверждения своей состоятельности в рамках уже не политического или социального, а экономического проекта, в том числе проекта всемирного тока рабочей силы и международного состязания — хотя уже некоторое время назад перестало быть понятно, между кем и кем, поскольку та же самая система стирает межнациональные границы. В конечном счете внутренние напряжения этой системы не позволяют ей окончательно проседать в самый хищный XIX век.

«ХЖ»: Мы уже говорили как о зазорах в неолиберальной системе, так и о противоречиях, присущих многим альтернативным этой системе движениям и сообществам. В самом деле, если, с одной стороны, минувшее десятилетие отмечено ростом протестных настроений, то, с другой стороны, мы обнаруживаем, что подчас неолиберальная субъективность глубоко укоренена и ярко проявляется в самом эпицентре альтернативного *network*'а. Вы сами

заметили в начале нашего разговора, что в ряде случаев неявными агентами неолиберальной практики становятся те, кто выступают ее активными критиками. И действительно, не трудно заметить, что многим протокольным критикам системы присущи неолиберальные культ карьеры и успеха, мышление в терминах конкуренции, а также присвоения и захвата, если не экономического (хотя часто и его тоже), то символического капитала. Даже в нашем медвежьем уголке мы видим появление носителей того, что принято называть гламурной левой или *business left*. Каков в таком случае источник изменений? Возможны ли они? На кого мы здесь можем рассчитывать, кроме «новой аристократии»?



А.Б.: В настоящий момент мы можем только гадать — и в этом смысле лучше отказаться от гадания и просто участвовать в любых сколько-нибудь обнадеживающих попытках формировать свою субъективность в рамках новой коллективной. Ведь мало кто предполагал — и в первую очередь профессиональные активисты — что именно после 4 декабря в 2011 году в России начнется уличная мобилизация, по численности участников сопоставимая с уже почти мифическими событиями конца 80-х. Причем, если развал СССР, начиная с 70-х, был темой

для многочисленных советологических и экспертных спекуляций, то массовая мобилизация в больших городах, имевшая место в конце 2011 года, никем и никогда как вероятное будущее не рассматривалась. Характерно, что никто в тот момент не воскликнул: «Я же предупреждал!». В этом смысле каждое следующее движение, протест, публичная демонстрация альтернативы, которые происходят в разных точках этой международной системы, весьма подвижной и непредсказуемой — это одновременно и опыт надежд, и тест на реальность (со всеми ее ограничениями и ловушками), и уточнение общей картины эмпирического порядка с его потенциальностью, которая пока еще да и вообще никогда не ясна окончательно. Чем были «арабские революции»? Сколь силен был произведенный ими энтузиазм, предвосхищение новых социальных и политических форм — особенно при взгляде на расстоянии, — и сколь предсказуемым, по итогам нашего опыта Перестройки, оказался итог. Или предшествующая эпоха бархатных революций, повторно маркировавших границы прежде биполярного мира. И между ними — феномены мобилизации в центрах прежней системы: в Соединенных Штатах («Оккупируй Уолл-стрит»), *indignados* в Испании и Франции. По факту очевидно, что в эти движения вовлечены разные активные среды, которые часто не имеют ясно оформленного утопического проекта, и сам акт участия в этих коллективных опытах, подобно тому, как это произошло в России, становится местом, где постепенно и не всегда привычными способами, вероятно, формируется новая утопия.

Как социологу, целенаправленно работающему с субъективными измерениями социального порядка^[3], мне

очевидно, что пути движения субъективности и встреча некоторых ее альтернативных форм с благоприятными для актуализации и реализации социальными условиями крайне причудливы. Так, проведя исследование в нескольких странах, беря интервью, сфокусированные на восприятии социальных неравенств, я обнаружил, что любое общество предстает своеобразным хранилищем альтернативных моделей социального устройства. Обладатели различного социального/биографического опыта, описывая, казалось бы, одну и ту же систему неравенств, достаточно жестко фиксированную в господствующих моделях ее представления (политического и культурного) — на деле живут, действуют и ориентируются во множестве различным образом упорядоченных обществ, «собственная» структура которых далеко не всегда совпадает или хорошо согласуется с другими. То есть их субъективность, воспроизводимая через каналы семейного воспитания, формируемая в непрерывности и сбоях социализации, отчасти ускользающая от универсализирующего воздействия школы, через которую сегодня проходит почти сто процентов населения европейских стран, включая Россию, — оказывается тем самым ресурсом альтернативности, во многом неразличимым, тематизируемым в лучшем случае в виде разницы мнений, который может неожиданно «выстрелить» при благоприятных условиях и привести к изменению социального порядка, переустройству социальных институтов как в сторону их эмансипации, так и фундаментализации.

Интервью позволили понять, в частности, что дети социального государства, выпускники хороших вузов,

обладатели более гладких социальных траекторий чаще склонны к воспроизводству господствующих моделей, основанных на отраслевом разделении труда и доминировании политической и финансовой сферы над остальными. Это хорошо видно по тому, как они описывают социальную структуру и по их реакциям на ряд социально нагруженных проективных стимулов. В свою очередь, обладатели менее гладких социальных траекторий, люди, которые в течение своей жизни переходили из среды в среду, меняли не только профессиональную принадлежность, но и, говоря обобщенно, социальный класс; или те, например, чьи родители принадлежат к резко различающимся или контрастным социальным слоям, для каждого из которых характерна своя перспектива, своя модель социального порядка, например, пожарник и работница художественной галереи — среди моих респондентов были и такие — они являются носителями, с одной стороны, более конфликтных, с другой стороны, нетривиальных форм субъективности, которые, вероятно, могут чаще других работать на долговременные изменения социального порядка.

В целом же альтернативность, почти безразличная к фундаментальному разрыву прошлого/будущего, дремлющая в каждом из нас революция различий, стертых консенсусом обыденной жизни, может выступать главным ресурсом сборки нового социального порядка, особенно когда прежние универсальные институции перестают действовать, как это произошло в Советском Союзе под конец его существования. То, что мы наблюдали в пятилетие с 1987 по 1993 год, было как раз таким впечатляющим социальным экспериментом, своеобразным

парадом субъективностей, когда были подвешены, существенно ослаблены те инстанции и силы, которые прежде производили внешнее универсальное принуждение.

Перераспределение общественных ресурсов, взаимодействие и конкуренция всех со всеми в разных секторах еще не прошедшего становление рынка, еще не оформленного политического пространства выстраивалось как раз таким образом, что институтами этого рынка и политики, этого нового пространства становились собственные проекции, субъективные предрасположенности тех, кто наиболее активно боролся за его определение. Были ли они выходцами из какой-то одной среды, представителями одного биографического типа? Очевидно, что нет. Изменения и реактуализация различий носили тотальный характер.

Возвращаясь к вопросу об источнике изменений и, более широко, о возможном устройстве будущего, мы должны помнить, что любой социальный порядок, любая техника управления населением способна оперировать ограниченным числом социальных различий и соответствующих им мотивов, страстей, предрасположенностей. В каждом обществе ряд таких предрасположенностей и моделей субъективности всегда ускользает из-под текущего контроля, оказывается в его тени. Находясь в потенциальном конфликте с господствующими схемами, на практике они просто недостаточно плотно с ними согласуются. Полагаю, именно на этих неплотно сомкнутых границах субъективности и происходит — незаметное или взрывообразное — становление нового порядка.

Москва, 16.02.2012

Примечания

1. [^](#) См.: Бикбов А. Культурная политика неолиберализма // «ХЖ», № 83, 2011.
2. [^](#) См., например: Бикбов А. Осваивая французскую исключительность, или Фигура интеллектуала в пейзаже // Логос, №1, 2011.
3. [^](#) В качестве примера см.: Бикбов А. Социальные неравенства и справедливость: реальность воображаемого (рисунки современного общества в России и Франции) // Логос, № 5, 2007.